Вся

# ЛЕ ГУИН

## ОРСИНИЯ

ЛЕГЕНДЫ ФАНТАСТИКИ

SCI-FI FOUNDATION

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Орсиния – это вымышленная страна в центре Европы. Страна средневековых лесов, недоступных городов, горных шоссе. В этой стране порой происходят самые невероятные и необычайные события. Кто же, как не мастер построения сказочных миров, знаменитая американская писательница Урсула Ле Гуин, сможет лучше всех поведать о жизни этой загадочной страны?


- Урсула Ле Гуин
  - * * *
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

# Урсула Ле Гуин
# An die Musik[1]

* * *

– Тут вас кто-то спрашивает. Некий господин Гайе.

Отто Эгорин кивнул. Это был его единственный свободный день в Фораное, и неизбежным казалось, что какие-то юнцы, подающие надежды, непременно отыщут его и день, естественно, пропадет. По тону слуги он догадался, что «кто-то» – персона не слишком важная. Впрочем, он слишком долго занимался исключительно делами жены, организовывая ей концертное турне, и теперь воспринимал почти как развлечение очередного поклонника своего таланта, рвущегося к нему в ученики.

– Проводите его сюда, – сказал Отто, вновь занялся письмом, которое писал, и поднял голову, только когда посетитель успел вдоволь налюбоваться его крупной и совершенно лысой головой. Он отлично знал, что первое подобное впечатление навсегда гасит практически любые наглые поползновения. Однако этот посетитель наглым отнюдь не выглядел: невысокий, в дешевеньком костюме, он держал за руку маленького мальчика и что-то, заикаясь, бормотал насчет чудовищной бесцеремонности… драгоценного времени… великой привилегии…

– Так-так, ну хорошо, – промолвил импресарио, в меру доброжелательно, ибо знал, что если таким вот застенчивым сразу не помочь освоиться, то на них уйдет куда больше времени, чем на самого дерзкого наглеца, – значит, он у вас играет гаммы с тех пор, как научился сидеть, а «Аппассионату» – с трех лет? Или, может, вы сами пишете для него сонаты, дорогой мой? – Ребенок не мигая смотрел на него холодными темными глазами. Мужчина стал еще больше заикаться и совсем умолк.

– Ради бога простите меня, господин Эгорин, – заговорил он снова, – я бы никогда не осмелился… но моя жена больна, и по воскресеньям я вожу мальчика гулять, чтобы хоть немного освободить ее от забот… – Мучительно было видеть, как он то краснеет, то бледнеет. – Он никаких хлопот не причинит! – вырвалось у него.

– В таком случае, о ком идет речь, господин Гайе? – довольно сухо спросил Отто.

– Я пишу музыку, – сказал Гайе, и Отто наконец понял, что ошибся: не мальчика предлагали ему в качестве очередного вундеркинда; у мужчины под мышкой торчал небольшой сверток – скатанная в трубку нотная бумага.

– Ах так! Ну хорошо, дайте-ка мне посмотреть, пожалуйста, – сказал Отто, протягивая руку. Именно этого момента он больше

всего опасался при общении со стеснительными людьми. Однако Гайе не стал объяснять в течение получаса, что именно он хотел написать, как и почему, комкая свои сочинения и потея, а молча протянул ноты Эгорину и, когда тот сделал приглашающий жест, присел на жесткий гостиничный диван. Мальчик сел с ним рядом; оба явно нервничали, однако казались покорными и смотрели на Отто одинаковыми, странно неподвижными темными глазами. – Видите ли, господин Гайе, в конце концов, вы ведь именно за этим сюда пришли, верно? Самое главное для вас – музыка, которую вы мне принесли. И вы хотите, чтобы я на нее взглянул. Мне тоже хочется посмотреть ваше произведение, так что прошу меня извинить. – С этими словами ему обычно удавалось вырвать манускрипт из рук застенчивых говорунов и посмотреть его. Однако мужчина просто кивнул в ответ и пояснил едва слышно:

– Здесь четыре песни и ч-ч-часть реквиема.

Отто нахмурился. В последнее время он часто говорил, что понятия не имел о том, сколько идиотов на свете пишут песни, пока не женился на певице. Однако мрачные подозрения улеглись, стоило ему взглянуть на первую песню; это оказался дуэт для тенора и баритона, и Отто даже решил, что стоит разгладить хмурые складки на лбу. Последняя из четырех песен особенно привлекла его внимание; это было одно из лирических стихотворений Гёте, положенное на музыку. Отто даже вылез из-за письменного стола и двинулся в сторону пианино, однако вовремя остановился: ни к чему зря обнадеживать. С такими посетителями нужно ухо держать востро, не то сыграешь хотя бы одну ноту из сочиненной ими дребедени, и они уже считают себя равными Бетховену и уверены, что через месяц непременно будут выступать в столице в программе Отто Эгорина. Впрочем, на этот раз попалась настоящая музыка – замечательная мелодия в первом голосе и полный томления, изящный, тихий аккомпанемент. Он перешел к реквиему, точнее – к трем его фрагментам: Kyrie eleison, Benedictus, Sanctus[2]. Почерк был аккуратный, но торопливый и мелкий. Ну да, нотная бумага ведь дорогая, подумал Отто, взглянув на башмаки посетителя. В ушах у него звучало соло тенора, сопровождаемое громом органа, тромбонов и контрабасов. «Benedictus qui venit in nomine Domini»[3]… – очень интересно задумано: как раз когда кажется, что грохот инструментов вот-вот сведет тебя с ума, мелодия вдруг становится прозрачной, простой, и можно поклясться: именно такой она и была все время. А тенор, черт бы его побрал! Piano, да еще на самых верхних нотах! Нет, вы найдите мне такой тенор, чтобы все это спел, да и сумел заглушить ревущие тромбоны! Так, теперь Sanctus: что ж, замечательно, ага, труба… нет, в самом

деле замечательно! Отто поднял голову. Он, сам того не замечая, отбивал рукой ритм, кивал, улыбался и что-то бормотал себе под нос. Ну и музыка!

– Подойдите-ка сюда! – сказал он сердито. – Как ваше имя? Что это такое?

– Ладислас Гайе. Это… это… вторая труба.

– А почему не помечено? Вот здесь, сыграйте-ка!

Они прошли Sanctus с начала и до конца пять раз.

– Плам, пла-ам, плам! – гудел Отто, изображая трубу. – Прекрасно! А почему у вас здесь басы вступают, раз-два-три-четыре – Р-РАЗ! – и вступают басы, как слоны, а зачем, собственно?

– Чтобы вернуться к началу, послушайте, вот орган аккомпанирует тенорам, – и пианино загрохотало, а Гайе запел хрипловатым тенорком. – Вот является Саваоф, потом вступают виолончели и ревут слоны, четыре слона, Sanctus! Sanctus! Sanctus!

Гайе пересел на прежнее место. Отто с трудом оторвался от последней ноты. В комнате стояла тишина.

Отто поправил увядающую красную розу в вазе, стоявшей на взятом напрокат пианино, и спросил:

– А где вы, собственно, надеетесь услышать исполнение этого реквиема?

Композитор молчал.

– Нужен женский хор. И два мужских. И оркестр в полном составе – с духовыми, с органом. Ну-ну. Дайте-ка мне еще разок взглянуть на ваши песни. Для мессы вы больше ничего не написали?

– «Верую», только еще оркестровка не готова.

– Полагаю, там вы введете двойное количество ударных, а? Ну хорошо. Так которая из них на слова Гёте? Дайте-ка я сыграю. – Он дважды сыграл песню с начала и до конца, потом долго молчал, машинально наигрывая одну из причудливых, точно недоговоренных музыкальных фраз аккомпанемента. – А знаете, первоклассная музыка! – заявил он наконец. – Просто первоклассная. Нет, какого черта! Вы что, пианист? Кто вы, собственно, такой?

– Обыкновенный чиновник.

– Чиновник? Какой еще чиновник? Так это что, ваше хобби, а? Вы этим в свободное время развлекаетесь?

– Нет, это… это то, что я…

Отто поднял голову и посмотрел на него: какой-то коротышка в жалком костюме, бледный от волнения, неразговорчивый…

– Я бы хотел кое-что узнать о вас поподробнее, Гайе! В конце

концов, вы вторглись ко мне, заявили: «Я пишу музыку», показали мне кое-что – маловато, правда, но очень неплохо. Очень… Да, очень, особенно вот эта песня и ваш Sanctus, впрочем, и Benedictus – тоже настоящая работа. Мне просто не оторваться! Но я и раньше видел неплохие произведения – на бумаге. Вот вы когда-нибудь выступали со своими на публике? Сколько вам лет, кстати?

– Тридцать.

– Что вы еще написали?

– Ничего. Во всяком случае, ничего достаточно крупного…

– К тридцати-то годам? Всего четыре песни и половину реквиема?

– У меня мало времени остается для работы.

– Господи, какая чепуха! Чепуха! Невозможно написать такое, не имея никакой практики. Где вы учились?

– Здесь, в Школе Канторов… до девятнадцати лет.

– У кого? У Бердике, у Чея?

– У Чея и у мадам Везерин.

– Никогда о такой не слышал. И больше вы мне ничего не покажете?

– Остальное хуже или еще не закончено…

– Сколько вам было лет, когда вы написали эту песню?

Гайе колебался:

– По-моему, лет двадцать.

– Десять лет назад! А что вы остальное-то время делали? Скажете «хочу музыку писать», да? Ну так и пишите! Что я еще могу вам посоветовать? Эти вещи хороши, даже очень хороши, а тот пассаж с ревущими тромбонами просто отличный! Дорогой мой, вы безусловно можете писать музыку, но чем я-то могу помочь? Не могу же я опубликовать четыре песни и полреквиема, написанные никому не известным учеником Васласа Чея? Ясно, что нет. Вам, насколько я понимаю, требовалось чье-то одобрение? Что ж, это в моих силах. Я полностью одобряю вашу деятельность. Да, одобряю и призываю вас писать больше музыки, больше. Почему вы ее не пишете?

– Я понимаю, как это мало, – сдавленным голосом проговорил Гайе. Лицо его было искажено, рука елозила по узлу галстука, мяла и терзала его. Он вызывал у Отто одновременно жалость и раздражение.

– Да, крайне мало, но почему бы не написать еще? – спросил Отто, стараясь быть дружелюбным.

Гайе потупился, словно разглядывая клавиши, потом коснулся их рукой; он весь дрожал.

– Видите ли, – начал он, потом вдруг резко отвернулся,

сгорбился, спрятал лицо в ладонях и разрыдался. Отто так и застыл на вертящейся табуретке у фортепиано. Мальчик, о котором никто не вспоминал, все это время смирно просидел на диване, свесив ножки в серых чулках; теперь он соскользнул на пол и бросился к отцу; и, разумеется, тоже захныкал. Он упорно тянул отца за куртку, пытаясь достать его руку, и шептал:

– Папа, не надо, папа, пожалуйста, не надо.

Гайе опустился на колени и одной рукой обнял ребенка:

– Извини, Васли. Не волнуйся, все хорошо… – Но он никак не мог успокоиться, и Отто встал, позвал горничную жены и величественно приказал:

– Возьмите-ка этого молодого человека да угостите его чем-нибудь вкусненьким, пусть порадуется, хорошо?

Горничная, спокойная молодая швейцарка, абсолютно уверенная, что все жители Центральной Европы сумасшедшие, кивнула и, совершенно не обращая внимания на плачущего мужчину, сказала:

– Пойдем-ка со мной, малыш. Как тебя зовут?

Но ребенок продолжал цепляться за отца.

– Ступай с этой госпожой, Васли, – сказал Гайе, и мальчик позволил девушке взять себя за руку и увести.

– Хороший у вас малыш, – сказал Отто. – А теперь, Гайе, присядьте-ка. Бренди? Немножко, а? – Он открыл дверцы бюро, выдвинул какой-то ящик, фыркая и что-то ворча себе под нос, протянул Гайе стакан и снова уселся за стол.

– Я не могу… – начал было совершенно измученный Гайе.

– Да, не можете; и я не могу; что ж, бывает. Возможно, вас это удивляет больше, чем меня. А теперь послушайте, Ладислас Гайе. У меня нет времени заниматься чужими бедами, у меня слишком много собственных забот. Но раз уж мы с вами так далеко зашли, то я бы хотел знать: из-за чего вы сдались?

Гайе покачал головой и ответил по-прежнему покорно; смиренное выражение исчезло у него с лица, лишь пока они занимались его сочинениями. Он вынужден был бросить музыкальное училище, когда умер его отец; теперь ему приходится содержать мать, жену и троих детей, будучи жалким чиновником на заводе, изготовляющем шарикоподшипники и прочие мелкие детали. Там он работает уже одиннадцать лет. Четыре раза в неделю по вечерам он дает уроки игры на фортепиано, и ему разрешают пользоваться классом в Школе Канторов.

Некоторое время Отто молчал; ему просто нечего было сказать в ответ.

– Господь явно позаботился, чтобы ваш жизненный путь был

достаточно тернист. Не повезло вам, – заметил он. Гайе не ответил. И действительно, слова «повезло» или «не повезло» не годились для описания той нескончаемой череды несправедливостей, от которых Ладислас Гайе, как и многие другие, страдал так жестоко, зато Отто Эгорин, неизвестно по какой причине, не страдал совершенно. – Почему вы решили прийти ко мне, Гайе?

– Мне это было необходимо. Я знал, что вы, вероятно, скажете: этого мало. Однако, услышав о вашем скором приезде сюда, я поклялся обязательно повидать вас. Я должен был сделать это. Меня, конечно, знают в Школе, но там все слишком заняты с другими учениками; с тех пор как умер Чей, не осталось никого… Мне необходимо было вас увидеть! Не для того чтобы вы меня приободрили – просто очень хотелось увидеть того, кто живет ради музыки, кто организует половину всех концертов в стране, кто символизирует собой…

– Успех, – договорил за него Отто Эгорин. – Да, я понимаю. Я ведь хотел стать композитором. Когда мне было двадцать и я жил в Вене, то вечно ходил к дому Моцарта или к могиле Бетховена. Я взывал к Малеру, к Рихарду Штраусу, ко всем композиторам, которые когда-либо посещали Вену. Я тщательно изучал их путь к успеху – как живых, так и мертвых. Когда-то они написали музыку, которую исполняют до сих пор. Видите ли, уже тогда я понимал: сам я настоящим композитором не являюсь, так что мне нужно ощутить реальность их существования, чтобы жизнь обрела хоть какой-то смысл. Впрочем, вас это не касается. Вам и нужно-то всего лишь напомнить, что музыка существует вечно. Я прав? И что не все на этом белом свете занимаются изготовлением шарикоподшипников.

Гайе кивнул.

– А что, больше некому позаботиться о вашей матери? – вдруг спросил Отто.

– Моя сестра вышла замуж за чеха, они живут в Праге… А она прикована к постели, моя мать то есть…

– Понятно. Да еще имеется жена, у которой нервы не в порядке, детишки, бесконечные счета и этот шарикоподшипниковый завод… Верно? Ну что ж, Гайе, не знаю, что вам и сказать. Видите ли, был на свете Шуберт. Я часто думаю о нем – это вовсе не вы заставили меня о нем вспомнить – и никак не могу понять, для чего господь создал Франца Шуберта? Чтобы искупить чужие грехи? И почему он убил его именно тогда, когда был достигнут уровень его последнего квинтета?.. Но сам-то Шуберт не задумывался, зачем господь его создал. Разумеется, затем, чтобы писать музыку! Du holde Kunst, ich danke dir![4]

Невероятно! Маленький, болезненный, безобразный, развалина в очках! Ему так и не довелось услышать, как исполняют его произведения… Du holde Kunst! Как лучше – «о, милосердное Искусство» или «о, возлюбленное Искусство»? Точно искусство способно быть добрым или милосердным! А вы никогда не думали, что надо все это бросить, Гайе? Только не музыку. Все остальное, а?

Он выдержал взгляд странных, холодных и темных глаз, не испытывая ни стыда, ни желания извиниться. Гайе ведь сам только что сказал: он, Отто Эгорин, живет ради музыки. И это действительно так. Он мог бы проявить буржуазную доброту и сочувственно отнестись к этому бедняге, которому ничего в мире не нужно, чтобы быть хорошим композитором, разве что немножко денег; но он ни за что не стал бы извиняться перед его больной матерью, или больной женой, или тремя детишками. Если живешь ради музыки, то и живи ради нее.

– Я не так устроен.

– Значит, вы не годитесь и для того, чтобы писать музыку.

– Вы думали иначе, когда читали мой Sanctus.

– Du lieber Herr Gott! – взорвался Отто. Он был большим патриотом, но мать его была уроженкой Вены, он и сам вырос в Вене, так что в моменты сильного душевного волнения переходил на немецкий. – Ну хорошо! А вам никогда не приходило в голову, мой дорогой молодой друг, что вы берете на себя некую ответственность, если пишете нечто вроде этого? Что с вас за ваш Sanctus еще спросится? Что у музыки не бывает ни артрита, ни расстроенных нервов, ни голодного брюха, ни «папа, папа, я хочу то, я хочу это», но тем не менее она зависит от вас, от вас одного? Другие тоже могут кормить детей и ухаживать за больными женщинами. Но больше никто не может написать вашу музыку!

– Да, я понимаю.

– Но не совсем уверены, что кто-нибудь возьмется кормить ваших детей и содержать ваших больных женщин. Возможно, и нет. Так-так… вы слишком мягки, слишком мягки, Гайе. – И Отто забегал по комнате на своих кривоватых ногах, фыркая и гримасничая.

– Можно мне прислать вам реквием, когда я его закончу?

– Да. Да, разумеется! Мне было бы очень приятно. Только когда же это случится? Лет через десять? «Гайе? А кто, черт побери, это такой? Где я его встречал?.. Но, знаете, очень неплохо… у молодого человека явно есть задатки…» А вам уже будет сорок, вы уже начнете уставать, уже сами вплотную подойдете к артриту или расстройству нервной системы… Но, конечно же, присылайте мне свой реквием! Вы очень талантливы,

Гайе, и обладаете великим мужеством, но чересчур мягки; вам не стоит писать такие большие вещи, как реквием. Вы не можете служить двум господам сразу. Пишите песни, небольшие пьесы, что-нибудь такое, о чем можно думать во время работы на этом вашем богом забытом предприятии, а записать потом, ночью, когда ваше семейство хотя бы на пять минут оставит вас в покое. Пишите на чем придется, хоть на неоплаченных счетах, и присылайте мне, только не думайте, что непременно нужно покупать лучшую нотную бумагу по два с половиной кронера за лист! Этого вы себе позволить не можете. А вот когда ваши вещи будут опубликованы, тогда другое дело. Присылайте, присылайте мне свои песни, и не через десять лет, а через месяц, считая от сегодняшнего дня, и если они будут такими же хорошими, как та, что на слова Гёте, я отдам вам целое отделение в концерте моей жены, который состоится в декабре в Красное. Пишите небольшие песни, а не огромные мессы. Гуго Вольф – вы ведь знаете Гуго Вольфа? – так вот, Гуго Вольф писал только песни, ясно?

Он опасался, что Гайе, преисполненный благодарности, снова сорвется, и все-таки был доволен собой, мудрым и великодушным: он ведь уже сумел осчастливить этого бедолагу и теперь имел право на собственную выгоду. Второй голос той мелодии на слова Гёте все еще звучал в голове – вольный, незатейливый, печальный и прекрасный. Потом вдруг заговорил сам Гайе, и Отто не сразу понял – хотя и не особенно удивился, – что в словах его звучит отнюдь не благодарность.

– Реквием – именно то, для чего я предназначен, он живет у меня внутри. А песни – да, они порой рождаются сразу в большом количестве, но я никогда не имел возможности записать их, даже если хотел: для этого потребовался бы целый день. Видите ли, этот реквием и еще одна симфония, над которой я в последнее время работал, обладают как бы определенным объемом и весом, ты долгое время носишь их в себе и всегда можешь продолжить работу над ними, если появляется время. Я понимаю, этот мой реквием кажется несколько амбициозным. Однако я уже знаю, что именно хотел бы сказать в нем. И это будет неплохо. Понимаете, я уже умею выразить то, что должен был выразить. Я уже начал работу над ним и теперь обязан ее закончить.

Отто давно уже перестал бегать по комнате, остановился и смотрел на Гайе недоверчиво, но с неким дружелюбным долготерпением.

– Ба! – сказал он. – Так какого же черта тогда вы явились ко мне? Да еще и нюни тут распустили? А сами заявляете: спасибо, мол, большое за ваши советы и предложения, но я все-таки попытаюсь достигнуть недостижимого? Невежество,

безрассудство – нет, это все я пережить могу – но вот глупость, абсолютную глупость артистов у меня больше нет сил выносить!

Смущенный, снова ставший покорным, Гайе сидел перед ним в своем жалком костюме и сам тоже казался жалким; все в нем свидетельствовало о крайней нужде, о чрезмерном напряжении, о постоянном недоедании, о неизбывных бытовых неурядицах и заботах. Отто отлично понимал: можно кричать на него хоть два часа, можно пообещать ему рекомендательные письма, публикацию его произведений, выступления перед публикой – Гайе все равно ничего не услышит и будет лишь повторять невнятно и заикаясь: «Сперва я должен закончить реквием…»

– Вы читаете по-немецки?

– Да.

– Это хорошо. Значит, как только ваш реквием будет закончен, сразу начинайте писать песни. На немецком. Или на французском, если он вам больше нравится, публика к нему привыкла. Знаете, в Вене и Париже не станут особенно слушать песни на языке, вроде нашего, на каком-нибудь румынском или датском – они для публики всего лишь забава, этакое фольклорное явление. А мы с вами хотим, чтобы вашу музыку слушали, так что пишите в расчете на крупные государства и помните, что большинство певцов – идиоты. Договорились?

– Вы очень добры, господин Эгорин, – сказал Гайе, но отнюдь не покорным тоном, а с холодным достоинством, позабавившим Отто. Он явно понял, что Отто уступил его упрямому безрассудству, как уступил бы безрассудству любого великого, знаменитого артиста, которого стал бы обхаживать с шуточками, а ведь его, Гайе, он мог бы с тем же успехом запросто раздавить, как какого-нибудь жучка. И он догадался: Отто побежден.

– Вот только отложили бы вы этих своих громогласных слонов хоть ненадолго, хоть на несколько вечеров, и написали бы что-нибудь такое, знаете ли, что можно было бы опубликовать, вставить в концерт, что вы сами смогли бы услышать в чужом исполнении, – говорил Отто по-прежнему иронично, по-прежнему с легким раздражением, однако вполне уважительно, и тут вдруг дверь со стуком распахнулась. Вошла жена Отто Эгорина, которая волокла за собой сынишку Гайе. Следом за ними шла горничная-швейцарка. В комнате мгновенно стало много народу – мужчины, женщины, дети, – зазвучало множество голосов, запахло духами, заблестели драгоценности.

– Отто, посмотри, кого я обнаружила у Анны Элизы! Ты видел когда-нибудь такое обворожительное дитя? Нет, ты только посмотри, какие у него глаза – огромные, темные, трагические! Его зовут Васли, и он любит шоколад. Такое чудо, настоящий

маленький мужчина! Нет, ты когда-нибудь видел подобного ребенка? Как вы поживаете? Я очень рада… Вы ведь отец Васли?.. Ну да, разумеется! Те же глаза! Господи, какая отвратительная дыра – этот городишко! Отто, я хочу уехать отсюда сразу после концерта, на первом же поезде, мне все равно, пусть он хоть в три утра отходит. У меня такое ощущение, что я уже похожа на те огромные заброшенные дома за рекой – у них окна, как пустые глазницы черепа, и пялятся, пялятся, пялятся без конца! Почему эти дома не снесут, если там больше никто не живет? Никогда, ни за что больше не поеду на гастроли в провинцию, провались оно, это вдохновляющее воздействие национального искусства! Не могу я петь здесь на каждом кладбище, Отто. Анна Элиза, приготовьте мне ванну, пожалуйста. Я чувствую себя грязной, прямо-таки бурой от грязи, такого же цвета, как их гречневая крупа. Вы из администрации Сорга?

– Я уже говорил с ними по телефону, – вмешался Отто, зная, что Гайе ничего не сможет ей ответить. – А господин Гайе – композитор, дорогая, он пишет мессы. – Он не сказал «песни», потому что это слово тут же привлекло бы внимание Эгорины. Он пытался хоть чем-то отплатить Гайе, давая ему предметный практический урок. Эгорина, которой мессы были совершенно не интересны, продолжала болтать о своем. Перед каждым концертом из нее в течение двадцати четырех часов изливался бесконечный поток слов, она умолкала, только когда выходила на сцену петь – высокая, великолепная, сияющая улыбкой. После концерта она обычно становилась очень тихой и задумчивой. По словам Отто, она являлась «самым прекрасным музыкальным инструментом в мире». Он женился на ней только потому, что это было единственным способом удержать ее от выступлений в опереттах; упрямая, глупая и чувствительная, что было в ней прямо пропорционально ее таланту, Эгорина ужасно боялась провала и желала добиться успеха надежным путем. Женившись на ней, Отто заставил ее пойти к победе нелегким путем солистки хора. В октябре она должна была впервые петь в опере – в «Арабелле» Штрауса. Вполне возможно, что перед этим она будет говорить не умолкая в течение полутора месяцев. Но Отто вполне мог вынести это испытание. Эгорина, в общем, отличалась красотой и добродушием; кроме того, совсем не обязательно было ее слушать. Она не очень-то обращала внимание на то, слушают ее или нет; главное – чье-то присутствие, аудитория.

Она продолжала говорить. Из ванной комнаты доносился звук льющейся воды. Зазвонил телефон, Эгорина взяла трубку. За все это время Гайе не промолвил ни слова. Мальчик с мрачным видом стоял с ним рядом. Эгорина совершенно забыла о Васли

после своего торжественного выхода и теперь ругалась с кем-то по телефону, как извозчик.

Гайе встал. Облегченно вздохнув, Отто проводил его до дверей, протянул две контрамарки на завтрашний концерт Эгорины и, пожав плечами, отверг всякую благодарность:

– Да что вы, в самом деле! Нам тут и билеты-то распродать не удалось! Какая музыка – совершенно тухлый город!

У них за спиной продолжал литься восхитительный голос Эгорины, взрывы ее смеха казались струями великолепного фонтана.

– Господи! Да какое мне дело, что там этот еврейчик скажет? – пропела она, и снова золотистыми колокольчиками зазвенел ее смех.

– Знаете, Гайе, – сказал Отто Эгорин, – этот мир вообще не очень-то годится для музыки. Особенно теперь, в 1938 году. Вы не единственный, кто мучается вопросами: а что такое добро? кому нужна музыка? кто хочет ее слушать? А действительно, кто, если Европа кишит военными, точно труп червями? Если в России пишут симфонии, желая торжественно отметить открытие очередной птицефабрики на Урале? Если музыка годится лишь для того, чтобы Пуци наигрывал на фортепиано, успокаивая нервы Вождя? Знаете, к тому времени, как вы закончите свой реквием, все церкви, вполне возможно, взлетят на воздух, а мужской хор будет выступать исключительно в военной форме, а потом и он тоже взлетит на воздух. Если же этого все-таки не произойдет, пришлите ваш реквием мне, мне это небезразлично. Впрочем, особых надежд я не питаю. Я, как и вы, на стороне проигравших. И она тоже, моя Эгорина. Можете мне не верить, но это так. Она-то никогда этому не поверит… А музыка сейчас ни к чему, она сейчас бесполезна, Гайе. Она утратила свою силу. Но вы пишите – песни, реквием, – пишите, это никому не приносит вреда. А я буду продолжать свою концертную деятельность, это тоже никому не приносит вреда. Но это не спасет нас…

Ладислас Гайе с сыном пошли от гостиницы пешком, через старый мост над рекой Рас; их дом находился в Старом Городе, в одном из унылых, беспорядочно застроенных кварталов северного берега. Все приличные современные дома Фораноя были на южном берегу, в Новом Городе. Стоял ясный теплый день; поздняя весна. Они остановились на мосту, любуясь отражавшимися в темной воде арками; каждая из них, соединяясь со своим отражением, образовывала идеальную окружность. Мимо проплыла баржа, тяжело нагруженная упаковочными клетями, и Васли, которого отец взял на руки, иначе ему ничего не было видно из-за каменных перил моста, сплюнул вниз, прямо

на одну из клетей.

– Как тебе не стыдно! – сказал Ладислас без особого, впрочем, возмущения. Он был счастлив. Неважно, что он заикался и лепетал что-то, как ребенок, перед великим импресарио Отто Эгорином. Неважно, что сам он безумно устал, что сегодня жена особенно не в форме, что они давно уже опаздывают домой. Ему было безразлично все, кроме маленькой твердой ладошки сына, которую он сжимал в руке, и ветра, который здесь, на мосту, перекинутом меж двумя городами, уносил прочь все лишние звуки и оставлял человека в тишине, омытой теплом молчаливых солнечных лучей; здесь, сейчас Отто Эгорин знал, кто он такой: музыкант, композитор. И признание его таковым тем, пусть единственным, человеком давало ему силы и ощущение свободы. Ничего, что он лишь какое-то мгновение испытывал это чувство – собственной силы и свободы: ему и этого было довольно. В голове звучал Sanctus – партия трубы.

– Папа, а зачем у той большой дамы в ушах такие странные штучки? И почему она все время спрашивала меня, люблю ли я шоколад? Разве бывает, чтобы люди не любили шоколад?

– Это драгоценные камни, Васли, сережки такие. А про шоколад я не знаю. – Труба все еще пела у него в ушах. Ах, если б только они с малышом могли задержаться здесь подольше, в этом солнечном свете и тишине, между двумя мгновениями… Но они двинулись дальше, в Старый Город, мимо верфей, мимо заброшенных каменных домов, вверх по склону холма, к своему убогому жилищу. Васли вырвал руку и тут же исчез в толпе орущих детей, кишевших во дворе. Ладислас Гайе окликнул было его, потом сдался, поднялся по темной лестнице на третий этаж, открыл дверь в темную прихожую и сразу прошел в темноватую кухню – первую из трех комнат их квартиры. Жена чистила за кухонным столом картошку. В грязном белом халате и грязных розовых синелевых шлепанцах на босу ногу.

– Уже шесть часов, Ладис, – сказала она, не оборачиваясь.

– Я был в Новом Городе.

– А ребенка-то зачем в такую даль потащил? Где он, кстати? И где Тоня и Дживана? Я их звала, звала… Во дворе их нет, это точно. Да, так зачем ты таскался в Новый Город с ребенком?

– Я ходил к…

– Ох, спина у меня сегодня ноет – сил нет! А все из-за жары. И почему это лето здесь всегда такое жаркое?

– Давай я почищу.

– Нет уж, я сама закончу. Не мог бы ты, наконец, прочистить горелки в духовке, Ладис? Я тебя об этом раз сто, наверно, просила! Мне ее теперь вообще не зажечь, там все засорилось, а с

такой спиной я ее чистить не могу.

– Хорошо. Только рубашку переодену.

– Послушай-ка, Ладис… Ладис! А что, Васли так и гуляет в хорошем костюме? Спустись и немедленно уведи мальчика со двора! Ты что, считаешь, мы в состоянии каждый раз отдавать в чистку его воскресный костюм? Ладис, ты слышишь? Спустись и приведи его домой! Ну почему ты никогда ни о чем не думаешь? Васли наверняка уже по уши в грязи. К тому же он водится с этими хулиганами и вечно играет у колонки!

– Иду, иду, не погоняй меня, ладно?

…В сентябре задули восточные ветры. Ветер пролетал мимо пустых каменных домов, спускался к сверкающей реке, морща ее поверхность, поднимал сухую пыль на улицах, стремясь запорошить глаза людям, идущим с работы. Ладислас Гайе миновал уличного оратора, и навстречу ему попалась маленькая девочка, которая, громко плача, бежала по крутой улочке; потом он прошел мимо газетного киоска, заметив крупными буквами напечатанный заголовок: «Пребывание мистера Невилла Чемберлена в Мюнхене». У обочины был припаркован большой автомобиль, возле него собралась целая толпа. Потом Ладислас обошел группу юнцов, наблюдавших за кулачным боем, миновал двух женщин, задушевно беседовавших друг с другом на всю улицу – одна стояла на краю тротуара, а вторая, одетая в синий с малиновыми цветами атласный халат, свесилась из окна. Он вроде бы видел и слышал все это, но все-таки не видел и не слышал ничего. Он очень устал. Вот и дом. Маленькие дочки Ладисласа Гайе играли во дворе, в темном колодце, окруженном со всех сторон стенами четырехэтажных домов. Он заметил их среди множества других девчонок, визжавших у двери в полуподвал, но не остановился, а сразу поднялся по темной лестнице, вошел в прихожую и проследовал на кухню. В последнее время его жене стало получше, поскольку жара стала ослабевать, но в данный момент она пребывала в дурном расположении духа. Глаза у нее были явно на мокром месте. Оказалось, что Васли вместе со старшими мальчишками был пойман за отвратительным занятием: они мучили кошку, а в итоге облили животное керосином и собирались поджечь.

– Никчемный мальчишка! Маленькое чудовище! Как нормальному ребенку может прийти в голову такая гадость?

Васли, запертый в средней комнате, ревел от злости. Ладислас Гайе сел за кухонный стол и опустил голову на руки. Перед глазами все плыло. Жена продолжала свой гневный монолог по поводу «никчемного мальчишки» и его дворовых

приятелей.

– …да еще эта госпожа Рассе вечно сует повсюду свой нос! Влезла сюда, даже не постучавшись, да еще спрашивает, знаю ли я, что собирается сделать мой драгоценный Васли, словно ее собственными сорванцами можно гордиться! Вот уж у кого рожи – грязней не придумаешь и глаза красные, как у кроликов! Ну что, ты намерен как-то наказать его, Ладис? Или так и будешь сидеть? Может, ты думаешь, я одна могу с ним справиться? Или тебя и такой сынок устраивает?

– А что мне с ним делать? И вообще, мы сегодня есть будем или нет? У меня в восемь урок, ты же знаешь. И ради бога, дай мне минутку посидеть спокойно.

– Спокойно? Значит, хочешь, чтобы тебя оставили в покое? Ну да, какое тебе дело до того, что твой сынок превращается в грубое животное, становится таким, как все здесь! Ну ладно, раз ты сам этого хочешь, с какой стати мне-то беспокоиться. – Она зашлепала по кухне в своих розовых шлепанцах, накрывая на стол.

– Маленькие дети всегда жестоки, – сказал Ладислас. – Они еще не понимают, что такое жестокость. Потом поймут.

Жена только плечами пожала. Васли теперь уже рыдал у самой двери: понял, что отец вернулся домой. Ладислас еще минутку подождал, потом прошел в соседнюю комнату и немного посидел с мальчиком, не зажигая света. Из третьей комнаты, где лежала бабушка, доносилась громкая танцевальная музыка. Ладислас специально для нее купил в комиссионке этот радиоприемник; радио было ее единственным развлечением, она только и говорила, что об услышанном по радио. Васли жался к отцу; плакать он перестал и выглядел совершенно измученным.

– Ты не должен так поступать, Васли. Ни ты, ни другие мальчики, – шепнул ему отец. – Бедная кошка ведь куда слабее вас, она даже защитить себя не может.

Васли молчал. Казалось, вся жестокость, вся нищета, вся тьма этого мира, настоящая и грядущая, окружают их в этой комнате. Рядом в вальсе ревели тромбоны. Васли жался к отцу и не говорил ни слова.

Среди рева тромбонов, густого, точно сладкая микстура от кашля, Гайе на мгновение услышал глубокие чистые звуки – свой Sanctus, точно гром небесный средь ясных звезд, из-за края Вселенной. Словно на мгновение с дома вдруг сорвали крышу и ему удалось заглянуть прямо в темную бездну. По радио заговорил ведущий – гладко и восторженно. Гайе снова вернулся на кухню и сказал жене, пытаясь перекрыть пронзительные голоса дочек:

– Английский премьер-министр сейчас в Мюнхене, с Гитлером встречается.

Она не ответила и молча поставила на стол тарелки с едой – суп и картошку. Она все еще была очень рассержена.

– Ешь да язык придержи, бесстыдник! – рявкнула она на Васли, который уже обо всем забыл и вовсю болтал с сестрами.

Пока Гайе спускался с холма и шел по мосту через Рас в сгустившихся сумерках, мелодия, которую он написал когда-то, упорно звучала у него в ушах. Это была последняя из семи песен, которые еще в августе он сочинил сразу, одну за другой; он все думал, достаточно ли семи песен, чтобы отослать Отто Эгорину в Красной, и стоит ли переписать их для этого начисто. Но сейчас его почему-то тревожили последние строки стихотворения: «Не жалуюсь я, ибо это ты в милости твоей обрушиваешь на головы нам стены того, что мы строили, дабы могли мы увидеть небо». Он повторил их вполголоса; здесь музыка должна звучать так… Гайе пропел мелодию про себя, потом повторил всю песню с начала до конца, прислушиваясь к аккомпанементу. Да, именно так. Господи, хоть бы его ученик опоздал, чтобы успеть наиграть аккомпанемент в Школе до начала урока. Однако опоздал на этот раз он сам, а когда урок закончился, голова была забита этюдами Клементи, и, хотя основная мелодия теперь слышалась уже совершенно ясно, как следует расслышать аккомпанемент он не мог – услышать его так же ясно, как слышал на мосту. Он пробовал повторить сперва стихотворение, потом всю мелодию, пробовал снова и снова, но туг явился сторож со своей метелкой и заявил, что пора запирать Школу. Гайе двинулся домой. Дул сильный холодный ветер, небо расчистилось, река казалась черной, как нефть, в ней отражались арки моста. На мосту он ненадолго остановился, но так и не услышал больше той музыки. Не смог.

Вернувшись домой, он сел за кухонный стол и стал просматривать запись основной мелодии, но этот вариант оказался куда слабее услышанного на мосту. Однако теперь у него не было ни инструмента, ни соответствующего настроения. Он забыл даже тональность, в которой звучал тот аккомпанемент, который так ему нравился. Все сразу стало как бы недосягаемым. Он понимал, что слишком устал, что работа не пойдет, но упрямо продолжал работать и сердился, тщетно пытаясь снова услышать музыку и записать услышанное. С полчаса он просидел без движения, даже пальцами ни разу не пошевелил. У противоположного конца стола сидела жена и чинила Тонино платье, одновременно слушая какую-то передачу по бабушкиному радио. Он закрыл уши руками. Жена что-то сказала насчет

музыки, но он не слушал. Полная неспособность записать хоть одну музыкальную фразу душила его, давила непереносимой тяжестью, в груди точно застрял огромный булыжник. Я никогда не дождусь перемен, подумал он, и тут же почувствовал облегчение, просветление, а затем и уверенность в своих силах. И догадался, что та мелодия снова всплывает в его душе, понял, что снова слышит ее. Нет, ему не требовалось ее записывать: она была написана давным-давно, и никому больше не нужно было из-за нее страдать. Ее пела Легман:[5]

Du hold Kunst, ich danke dir.

Он долго еще сидел неподвижно. Музыка не спасет нас, сказал тогда Отто Эгорин. Не спасет ни вас, Отто, ни меня, ни ее – ту крупную женщину, в голосе которой звенят позолоченные колокольчики, но у нее нет детей и она их иметь не хочет. Она не спасет и Легман, которая пела эту песню; и Шуберта, который ее написал и уже сто лет как лежит в могиле. Да и какой вообще от музыки прок? Никакого. В этом-то все и дело, подумал Гайе. Миру с его государствами, армиями, заводами и великими Вождями музыка говорит: «Все это неуместно», а страдающему человеку она, уверенная в себе и нежная, как истинное божество, шепчет: «Слушай». Ибо быть спасенным – не самое главное. Музыка ничего не спасает. Милосердная и одновременно равнодушная, она отвергает и разрушает любые убежища, стены любых домов, построенных людьми для себя, чтобы люди эти смогли увидеть небо!

Гайе отодвинул исчерканные разлинованные листы бумаги, маленький томик стихов, ручку и чернильницу. Потом потянулся и зевнул.

– Спокойной ночи, – тихо сказал он жене и пошел спать.

**notes**

# Примечания

# 1

К музыке *(нем.)*.

## 2

*Kyrie eleiso*n – Господи, помилуй *(греч.)*. *Benedictus* – Благословенный *(лат.)*. *Sanctus* – Священный *(лат.)*.

## 3

Начало молитвы «Благословен будь тот, кто является от имени Господа» *(лат.)*.

# 4

О, прекрасная Музыка, благодарю тебя *(нем.)*.

## 5

*Лилли Легма*н (1848—1929) – немецкая оперная певица, знаменитое сопрано.